
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ТОМАС НИДЕРВАЛЬД
Пекарня Хамфри Бэйкера
БОБОВЫЙ КОРОЛЬ
Роман-сказка в четырёх частях
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ · КНИГА 6 ·
ЛОНДОН · 1873
12+

Томас Нидервальд

Пекарня Хамфри Бэйкера. Бобовый король

«Автор»
2026

Нидервальд Т.

Пекарня Хамфри Бэйкера. Бобовый король / Т. Нидервальд — «Автор», 2026

Декабрь 1872 года. В пекарне на Боро перестаёт подниматься тесто, по ночам пропадают булки, а на муке у старой печи остаются босые детские следы. Мучной торговец Грабб требует долг и хочет забрать пекарню, которая сто лет назад принадлежала его деду. Восьмидесятидвухлетняя бабушка Лавиния вспоминает песенку своей няни. Роман о мальчике, который сто лет ждал куска пирога, и о девочке, у которой никогда не было ничего своего.

© Нидервальд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Двенадцатая ночь, 1773 5
Часть первая. Пекарня 9
Глава первая. Пекарь по фамилии Пекарь 10
Глава вторая. Две помощницы 14
Интерлюдия. Мука мистера Грабба 18
Глава третья. Коробка за печью 21
Глава четвёртая. Бабушка Лавиния 25
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Томас Нидервальд
Пекарня Хамфри Бэйкера. Бобовый король

Пролог. Двенадцатая ночь, 1773

В тысяча семьсот семьдесят третьем году на Боро, в двух шагах от Лондонского моста, между лавкой седельщика и трактиром «Шахматная доска», стояла пекарня мистера Джосайи Грабба.

Она стояла на том же месте, где стоит и сейчас, — только тогда над дверью висел не золочёный крендель, а жестяной калач, выкрашенный в цвет горчицы, и под калачом было написано: «ДЖ. ГРАББ. ХЛЕБ ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Мистер Грабб пёк для джентльменов. Для всех остальных он пёк тоже, но об этом не писал.

Хлеб для джентльменов был белый, из лучшей кентской муки, и стоил шиллинг за четырёхфунтовую ковригу. Хлеб для всех остальных был серый, тяжёлый, с отрубями, с толчёным мелом, с квасцами — чтобы был белее и весил больше, — и стоил девять пенсов. Мистер Грабб считал, что бедные не отличат. Бедные отличали. Но покупали, потому что на Боро другой пекарни не было.

Мистер Грабб был высокий, сухой, жёлтый, как старая корка, с бакенбардами, остриженными котлетами, и с маленькими глазами, которые никогда не смотрели на того, с кем он говорил, — только на его руки. Он считал, что по рукам человека видно, сколько с него можно взять.

У мистера Грабба был ученик.

* * *

Его звали Обадайя Крамб. Ему было десять лет.

«Крамб» по-английски значит «крошка». Фамилию ему дали в работном доме Святого Георгия, где он вырос, — потому что, когда его принесли туда младенцем, завёрнутым в мешок из-под муки, он был такой маленький, что смотритель сказал: «Крошка. Так и запишите». Так и записали.

Обадайя был худой, длинноногий, с острыми лопатками и белыми, всегда белыми от муки волосами, — так что никто, даже он сам, не знал, какого они цвета на самом деле. Он месил тесто с четырёх утра. Таскал мешки по сто двенадцать фунтов, которые были тяжелее его самого в два раза. Подметал. Выгребал золу. Разносил ковриги джентльменам по Хай-стрит и Сент-Томас-стрит. Спал на мучном чердаке над пекарней, в углу между мешками, на рогоже, потому что там было тепло от печи.

Ел он корки. Те, что подгорели. Те, что мистер Грабб срезал с ковриг для джентльменов, — чтобы были ровнее. Мистер Грабб говорил: «Корка — самое питательное в хлебе. Джентльмены этого не понимают. А ты, Крамб, понимаешь». Обадайя не понимал. Но корки ел.

У Обадайи была сестра. Ханна. Пятнадцати лет. Её отдали из работного дома в прислуги, в Кент, и она приходила к брату раз в полгода, на Пасху и на Михайлов день, пешком, тридцать миль, — и приносила ему яблоко. Одно. Из хозяйского сада. Обадайя ел его по кусочку целую неделю. Последний кусочек — огрызок с семечками — он прятал под рогожу и нюхал по ночам, пока не высыхал совсем.

* * *

Пятого января тысяча семьсот семьдесят третьего года, в Двенадцатую ночь, у мистера Грабба были гости.

Он их не любил. Но они были полезны: мистер Пэйли, хлеботорговец из Сити; мистер и миссис Хэвишем из Сент-Олавского прихода, где мистер Хэвишем был попечителем бедных

и, следовательно, решал, у кого работный дом будет покупать хлеб; ещё двое джентльменов из Кентской мучной компании, и при них — жёны, дочери, сестра одной из жён и чей-то кузен, юный корнет в красном мундире, который всё время смеялся.

Для гостей мистер Грабб испёк Двенадцатый пирог.

Это было его искусство — единственное, которое у него было, но было по-настоящему. Пирог был в два фута шириной, высокий, тёмный от изюма и коринки, пропитанный бренди, облитый белой сахарной глазурью, твёрдой, как мрамор, и украшенный сахарными фигурками: король, королева, шут, повар, рыцарь, дама с веером, — всё раскрашенное, золочёное, такое тонкое, что было видно на просвет. Обадайя видел, как мистер Грабб лепил эти фигурки — по ночам, при свече, щипчиками, — и это было единственное время, когда лицо у хозяина становилось не злым, а сосредоточенным, почти добрым.

В тесто мистер Грабб положил, как положено, боб и горошину. Боб — для короля, горошину — для королевы.

Боб был чёрный. Не потому, что так было положено, а потому, что мистер Грабб купил его у старухи на Боро-маркете — у старой цыганки, которая продавала сушёные бобы, приворотные корешки и гадала по ладони. Она сказала: «Возьми, хозяин, чёрный. Он к счастью. Кто найдёт — тому вся ночь в руки». Мистер Грабб не верил в счастье. Но чёрный боб стоил фартинг, а белый — тоже фартинг, и он взял чёрный, чтобы гости заметили.

* * *

Пирог резали в девять вечера, в гостиной над пекарней. Обадайя стоял у двери с подносом — разносить ломти. Он не ел с утра. Корок в тот день не было: мистер Грабб пёк для гостей, а для гостей корки не срезают.

Пирог пахло так, что у Обадайи кружилась голова. Изюмом. Корицей. Апельсиновой коркой. Бренди. Жжёным сахаром. Он стоял и держал поднос, и смотрел, как мистер Грабб режет ломти — длинным ножом, ровно, — и раскладывает на тарелки, и Обадайя несёт тарелки гостям, и гости едят, и отламывают, и ищут боб, и смеются.

Горошину нашла дочь мистера Пэйли, толстая девица в розовом. Её короновали — бумажной короной, позолоченной, — и она пищала от восторга.

А боба не было.



Мучной чердак пекарни Грабба. Двенадцатая ночь 1773 года

Его не было ни в одном куске. Гости переломали все ломти, раскрошили их, корнет в красном мундире даже раскрошил кусок сахарного рыцаря, — боба не было. Мистер Грабб пожелтел ещё больше. Это было дурно. Пирог без короля — дурная примета. Гости начали переглядываться.

И тогда Обадайя, подметая крошки у камина, — нашёл его.

Чёрный, блестящий, как уголёк. В крошках на полу. Видимо, выпал из ломтя, когда корнет его ломал.

Обадайя поднял боб. Посмотрел на него. И сказал — сам не зная зачем, громко, как говорят дети, которые нашли что-то и рады:

— Вот он! Я нашёл!

* * *

Гостиная замолчала.

Потом корнет в красном мундире захохотал. И все захохотали за ним. Мистер Пэйли, миссис Хэвишем, джентльмены из мучной компании, дочери, жёны, кузен.

— Король! — кричал корнет. — У нас король! Ваше величество! Корону ему!

Кто-то сорвал бумажную корону с толстой девицы в розовом — та обиженно пискнула — и нахлобучил на белую от муки голову Обадайи. Корона была ему велика и сползла на уши. Все захохотали ещё громче.

— Ваше величество! — Корнет опустился на одно колено, прижав руку к сердцу. — Приказывайте! Вся ночь — ваша! До утра! Что прикажете?

Обадайя стоял посреди гостиной, в короне, с совком для крошек в одной руке и чёрным бобом в другой. На него смотрели двенадцать человек. Смеялись. Он не понимал, над чем. Он понимал только, что ему можно приказывать. До утра.

Он посмотрел на стол. На то, что осталось от пирога: четверть, с сахарным королём на краю.

— Дайте мне кусок пирога, — сказал Обадайя Крамб.

Это был его единственный приказ.

Гостиная взорвалась хохотом. Корнет упал на ковёр и катался, держась за живот. Миссис Хэвишем утирала слёзы платком. Мистер Пэйли хлопал себя по колену. «Кусок пирога! — повторяли все. — Ваше величество желает кусок пирога! Какой скромный король! Какой разумный монарх!»

Мистер Грабб не смеялся. Мистер Грабб смотрел на руки Обадайи. На чёрный боб в них.

— Его величество, — сказал мистер Грабб, и голос у него был ровный, как лезвие, — получит кусок пирога. Утром. Когда кончится его царствование. А сейчас его величество отправится спать. Королям полагается рано ложиться. Ступай, Крамб.

Гости засмеялись снова — это была отличная шутка, хозяин был остроумен. Обадайя положил совок. Поклонился — как кланялся всегда, низко. И ушёл. В короне. С бобом, зажатым в кулаке.

Пирога ему не дали.

* * *

В ту ночь мистер Грабб, проводив гостей, погасил печь.

Он сделал это нарочно. Не потому, что хотел зла — так он говорил потом себе, и, может быть, это была правда, — а потому, что уголь в январе стоил тридцать шиллингов за челдрон, а печь всё равно не нужна до утра: утром — праздник, пекарня закрыта. Он закрыл заслонку. Потушил свечи. Ушёл спать в свою спальню, к жене, под пуховое одеяло.

Над пекарней, на мучном чердаке, между мешками, лежал на рогоже десятилетний мальчик в бумажной короне. Тепло от печи уходило вверх, сквозь половицы, — сначала много,

потом меньше, потом совсем мало. За ночь термометр на Лондонском мосту опустился до девяти градусов по Фаренгейту. Это был самый холодный январь за двадцать лет.

Обадайя лежал и смотрел в темноту. Он был голоден. Он был так голоден, что голод перестал быть болью и стал — светом. Ему казалось, что на чердаке светло. Что мешки с мукой — это сугробы. Что за сугробами — стол. А на столе — пирог. Целый. С сахарным королём. И никто не смеётся. И кто-то говорит: «Ешь, сынок».

Он протянул руку к пирогу.

И пошёл.

* * *

Утром шестого января мистер Грабб поднялся на чердак разбудить ученика — пора было растапливать печь.

Обадайя Крамб лежал на рогоже, на боку, подтянув колени к груди. В бумажной короне. Лицо у него было белое — не от муки. На ресницах — иней. Правая рука была сжата в кулак.

Мистер Грабб разжал кулак. Там был чёрный боб. Тёплый. Мистер Грабб потом всю жизнь клялся, что боб был тёплый, — один тёплый предмет на всём ледяном чердаке.

Он положил боб и корону в жестяную коробку из-под чая. Сам не зная зачем. Может быть, потому что не мог выбросить. Может быть, потому что не смел. Он выцарапал на крышке гвоздём: «Король на одну ночь. 1773». И задвинул коробку за печь, в самый дальний угол, где кирпичная кладка примыкала к стене.

Обадайю Крамба похоронили на кладбище Святого Георгия, в общей могиле для бедных. Работный дом заплатил за гроб — шесть шиллингов. Сестре написали в Кент. Ханна пришла через неделю, пешком. Принесла яблоко. Положила на общую могилу и ушла.

* * *

Через год у мистера Джосайи Грабба перестало подниматься тесто.

Не сразу. Сначала — иногда. Потом — часто. Потом — всегда. Он менял муку, закваску, воду, дрожжи. Покупал лучшую кентскую. Нанимал подмастерьев из Йоркшира и Шотландии. Тесто лежало в квашне плоское, как блин, и кислое, как уксус.

Покупатели ушли. Джентльмены — к другим пекарям. Бедные — тоже, потому что на Боро открылась новая пекарня, чуть дальше, у Кинг-стрит.

В тысяча семьсот семьдесят шестом году мистер Грабб продал пекарню. Сам стал торговать мукой — на это ума хватало, и мука, проданная другим, поднималась прекрасно. Он разбогател. Он основал фирму «Грабб и сыновья». Его сыновья и внуки торговали мукой сто лет.

Но в пекарню на Боро он больше не входил. Никогда. Даже когда проходил мимо — переходил на другую сторону улицы.

А жестяная коробка осталась за печью. Сто лет. Её никто не находил. Пекари менялись — четверо за сто лет. Старую печь заложили и построили рядом новую. Подвал засыпало мукой, как снегом.

И каждый год, в Двенадцатую ночь, в подвале пекарни на Боро кто-то вздыхал. Тихо. Как вздыхают очень голодные дети, когда смотрят в окно булочной.

Пекари не слышали. Они спали.

Часть первая. Пекарня

Тесто чует злого человека. При злом оно не поднимается.

Хамфри Бэйкер, пекарь

Глава первая. Пекарь по фамилии Пекарь

Мистер Хамфри Бэйкер, пекарь, проснулся первого декабря тысяча восемьсот семьдесят второго года, как просыпался каждый день последние тридцать лет, — в без четверти четыре утра, за пятнадцать минут до будильника, потому что будильник был ему не нужен. Его будило тесто.

Он не мог объяснить, как. Бетси, жена, говорила, что это глупости. Но мистер Бэйкер знал: в без четверти четыре закваска в деревянной кадке у печи — та самая, которую он кормил мукой и водой тридцать лет, и которую до него кормил его отец, а до отца — дед, — доходила. И будила его. Как будит ребёнок, который проголодался. Не криком — присутствием.

Он сел на кровати. Нашёл ногами шлёпанцы. Посмотрел на Бетси — она спала, круглая, румяная, в ночном чепце с оборкой, и улыбалась во сне. Она всегда улыбалась во сне. Мистер Бэйкер двадцать шесть лет смотрел, как она улыбается во сне, и каждый раз думал, что ему повезло больше, чем всем лордам Англии.

Потом он спустился в пекарню.

* * *

Пекарня Бэйкера на Боро стояла на углу, в двух шагах от церкви Святого Георгия, в трёх минутах ходу от Лондонского моста. Это был узкий четырёхэтажный дом из тёмного кирпича, старый, с покосившимися окнами и крышей, которая провисла посередине, как спина у старой лошади. Внизу — лавка и пекарня. Над ними — жильё Бэйкеров. Ещё выше — чердак, где хранили муку. В подвале — старая печь, которой не пользовались уже лет сорок, и всякий хлам.

Над дверью висел золочёный крендель, огромный, как тележное колесо. Мистер Бэйкер заказал его в тысяча восемьсот пятьдесят первом году, в год Великой выставки, у резчика на Лонг-Эйкре, за три фунта десять шиллингов, и с тех пор каждую весну подновлял позолоту сам, стоя на лестнице, под крики мальчишек: «Пекарь Пекарь золотит крендель!» Под кренделем — вывеска: «Х. БЭЙКЕР. ХЛЕБ И ПИРОГИ».

Над этим смеялся весь Саутварк.

«Бэйкер» — значит «пекарь». «Пекарь по фамилии Пекарь». Мистер Бэйкер слышал эту шутку, по его подсчётам, около сорока тысяч раз. В первый раз — в шесть лет, от учителя в приходской школе. В последний — вчера, от нового констебля, молодого, рыжего, с белой прядью надо лбом, который зашёл купить пирожок с мясом и спросил: «А правда, что вас зовут Пекарь, а вы пекарь?»

— Правда, констебль, — сказал мистер Бэйкер. — Мне на роду написано. Если бы я стал сапожником, меня бы никто не понял.

Констебль засмеялся. Мистер Бэйкер засмеялся тоже. Он смеялся над этой шуткой сорок тысяч раз — и каждый раз от души. Потому что считал так: если люди смеются, значит, им хорошо. А если им хорошо — значит, они купят ещё один пирожок.

* * *

Мистер Бэйкер затопил печь.

Это была его любимая минута. Новая печь, которую построил ещё его отец, — кирпичная, с чугунной дверцей, с подом, выложенным плиткой из Стаффордшира, — стояла в глубине пекарни, занимая всю заднюю стену. Мистер Бэйкер открыл заслонку, сгрёб вчерашнюю золу, положил растопку — сухие буковые чурки, которые покупал у бондаря на Лиденхолле, — и поджёг. Огонь занялся сразу. Весело. С треском. Как будто тоже ждал.

Потом мистер Бэйкер подошёл к кадке с закваской.

Закваска пахла правильно. Кисловато, тепло, с яблочной ноткой. Пузыри на поверхности были мелкие, частые, — значит, проголодалась. Мистер Бэйкер отделил часть — на сегодняшнее тесто — и подкормил остальное: две пригоршни муки, полпинты тёплой воды.

— Ну, старушка, — сказал он закваске. — Работаем.

Он всегда разговаривал с тестом. Бетси смеялась. Подмастерья смеялись. Мистер Бэйкер не обижался. Он знал то, чего они не знали: тесто слышит. Не слова, нет. Голос. Если голос добрый — тесто поднимается. Если злой — не поднимается. Так говорил его отец, Сэмюэл Бэйкер, пекарь. Так говорил его дед, Илайджа Бэйкер, пекарь. «Тесто чует злого человека, Хамфри. При злом оно не поднимается. Поэтому в пекарне никогда не ссорься. Даже с кошкой».

Мистер Бэйкер не ссорился. Даже с кошкой. Кошку звали Мисс Корочка, она была рыжая, толстая и считала пекарню своей.

* * *

К пяти часам пришёл ночной подмастерье — Лемюэл Твиг.



Боро. Пекарня Хамфри Бэйкера под золочёным кренделем

Ему было шестнадцать лет. Длинный, нескладный, с руками, которые вечно торчали из рукавов, как у пугала, и с лицом, на котором никогда ничего не было написано. Бэйкер взял его прошлой весной из приюта на Тули-стрит, из «Дома Джека и Билли», — по просьбе начальницы, миссис Хиггинс. «Он угрюмый, мистер Бэйкер, — сказала миссис Хиггинс, — но работящий. И руки у него — для теста». Руки у Лемюэла действительно были для теста: большие, сильные, тёплые. Тесто его слушалось.

А сам Лемюэл слушался плохо. Он молчал. Он не смеялся над шуткой про Пекаря. Он брал свои четыре шиллинга в субботу — и уходил, не сказав «спасибо». Он приходил к пяти и уходил в два, и что он делал в остальное время, не знал никто.

— Доброе утро, Лемюэл, — сказал мистер Бэйкер.

— Утро, — сказал Лемюэл. И пошёл мыть руки.

Мистер Бэйкер вздохнул. Он вздыхал так каждое утро. Он не мог понять, почему мальчик не любит его. Он платил честно. Кормил досыта — Лемюэл съедал в день две ковриги, и мистер Бэйкер ни разу не сказал ни слова. Он ни разу не повысил на него голос. А мальчик смотрел на него, как смотрят на погоду: терпеливо, без интереса, без тепла.

«Ничего, — думал мистер Бэйкер. — Оттает. Тесто тоже не сразу поднимается».

* * *

К шести часам утра на Боро стояла очередь.

Это была лучшая очередь в Лондоне — так считал мистер Бэйкер. Здесь стояли все. Грузчики с Хэйс-уорфа — за ковригами на день, по восемь пенсов за четыре фунта. Прачки из Бермондси — за булками для детей, по полпенни штука. Клерки из Сити, которые жили на этом берегу и шли через мост на службу, — за пирожками с мясом, по пенни. Старуха Пегги Флинн, которая продавала у моста горячую картошку, — за вчерашним хлебом, который мистер Бэйкер отдавал ей за полцены. Мальчишки-газетчики — за чем угодно, на что хватало денег. Если не хватало — мистер Бэйкер давал в долг. Записывал мелом на доске у двери. Иногда забывал записать.

Бетси стояла за прилавком. Круглая, румяная, в белом чепце и белом фартуке, с руками, которые двигались быстрее, чем можно было уследить: коврига — в бумагу — монета — сдача — следующий. Она знала всех по именам. Она знала, у кого заболел ребёнок и кому надо положить лишнюю булку «для мальца». Она знала, кто из клерков влюблён в дочь торговца сыром и кто из прачек ждёт мужа из Австралии. Она знала всё. Боро без Бетси Бэйкер было бы как Боро без собора Святого Спасителя: стоять бы оно стояло, но непонятно зачем.

— Хамфри! — крикнула она в пекарню. — Пирожков с мясом не хватает! Ещё два противня!

— Будут! — крикнул мистер Бэйкер из жара.

Это было счастье. Мистер Бэйкер знал это совершенно точно, хотя никогда никому не говорил. Счастье — это когда в шесть утра в пекарне жарко, за прилавком Бетси, в очереди — весь Боро, а из печи пахнет так, что люди на мосту оборачиваются.

* * *

В девять утра, когда очередь схлынула, в пекарню вошёл лакей.

Лакей был в ливрее — тёмно-синей, с серебряным галуном, с пуговицами, на которых была выбита сова. Он был высокий, напудренный, и на Боро выглядел так же уместно, как выглядел бы павлин в курятнике. Бетси за прилавком перестала считать сдачу. Лемюэл в глубине пекарни перестал месить.

— Мистер Хамфри Бэйкер? — спросил лакей.

— Он самый, — сказал мистер Бэйкер, выходя из жара и вытирая руки о фартук. — Пекарь по фамилии Пекарь. Чем могу?

Лакей не улыбнулся. Он протянул конверт. Плотный, кремовый, с гербом — сова на ветке и девиз: «Видит и в темноте».

Мистер Бэйкер распечатал. Прочёл. Перечитал. Посмотрел на Бетси.

— Бетси, — сказал он. — Сэр Амброуз Уиндем. Гросвенор-сквер. Заказывает Двенадцатый пирог. На бал. Для приютских детей. На шестьдесят персон. — Он сглотнул. — Две гинеи.

Бетси уронила монету. Монета покатилась по прилавку, упала на пол, звякнула. Мисс Корочка лениво посмотрела на неё и не пошла ловить.

Две гинеи. Два фунта два шиллинга. Больше, чем пекарня Бэйкера зарабатывала чистыми за месяц. Больше, чем мистер Бэйкер когда-либо получал за один заказ.

— Сэр Амброуз, — сказал лакей, — велел передать, что его повар, мсье Дюбуа, отказался печь пирог для «приютских оборванцев». Мсье Дюбуа уволен. Сэр Амброуз спросил у миссис Хиггинс, начальницы приюта, кто печёт лучший хлеб на Боро. Миссис Хиггинс ответила: «Бэйкер. Тесто его любит». Сэр Амброуз сказал: «Если тесто любит — значит, и пирог получится». — Лакей помолчал. — Пирог нужен к восьми вечера пятого января. С бобом и горошиной. С сахарными фигурками. В золочёной бумаге. Сэр Амброуз просил передать, что он сам когда-то нашёл боб в Двенадцатом пироге, в Кенте, в тысяча восемьсот семнадцатом году, и что это был лучший вечер его жизни. Он хочет, чтобы у детей тоже был такой.

Мистер Бэйкер стоял посреди пекарни с письмом в руке. Мука сыпалась с его бровей на кремовую бумагу.

— Передайте сэру Амброузу, — сказал он, — что пирог будет. Лучший пирог в Лондоне. С бобом, с горошиной, с сахарными фигурками. Я его сам испеку. Своими руками.

Лакей поклонился и ушёл. На пороге он поскользнулся на муке и едва не упал. Мальчишки на улице засвистели.

* * *

Когда дверь за лакеем закрылась, Бетси вышла из-за прилавка, подошла к мужу и обняла его. Крепко. Посреди пекарни. При Лемюэле. При Мисс Корочке.

— Хамфри, — сказала она ему в плечо. — Две гинеи.

— Две гинеи, Бетси.

— Мы отдадим Граббу.

Мистер Бэйкер перестал улыбаться.

— Часть, — сказал он. — Часть отдадим.

Они стояли обнявшись. А в глубине пекарни, у квашни, Лемюэл Твиг смотрел на них. И лицо у него, как всегда, ничего не выражало. Только руки, большие, тёплые, «для теста», — сжались на краю квашни так, что побелели костяшки.

Мистер Бэйкер этого не видел. Он думал о пироге. О двух гинеях. И о сорока фунтах, которые он был должен мистеру Освальду Граббу, мучному торговцу с Бэнксайда, — за муку, взятую в долг прошлой зимой, когда весь Саутварк лежал в инфлюэнце, а Бэйкер раздавал хлеб даром, потому что не мог иначе.

Срок долга истекал шестого января.

Глава вторая. Две помощницы

Двенадцатый пирог на шестьдесят персон — это не шутка.

Мистер Бэйкер сидел вечером первого декабря за кухонным столом, над пекарней, при лампе, с карандашом и листом обёрточной бумаги, и считал. Бетси сидела напротив и штопала чулок. Мисс Корочка спала на тёплой плите.

— Мука — восемь фунтов, — говорил мистер Бэйкер. — Лучшая, кентская, не граббовская. Шесть шиллингов. Масло — четыре фунта, по шиллингу шесть пенсов. Шесть шиллингов. Сахар — шесть фунтов, пиленый, для глазури — ещё четыре фунта сахарной пудры. Девять шиллингов. Яйца — четыре дюжины, в декабре по полтора пенса штука. Шесть шиллингов. Изюм, коринка, цукаты, миндаль — четырнадцать шиллингов. Пряности — корица, мускат, гвоздика — три шиллинга. Бренди… — Он замолчал. — Бренди не буду. Пирог для детей. Возьму апельсиновый сок с цедрой. Два шиллинга. Золочёная бумага — шиллинг. Краски для сахарных фигурок — шиллинг. Уголь — лишний мешок, восемнадцать пенсов.

Он сложил.

— Два фунта четыре шиллинга шесть пенсов, — сказал он. И посмотрел на Бетси.

— Хамфри, — сказала Бетси, не поднимая глаз от чулка. — Сэр Амброуз платит две гинеи. Два фунта два шиллинга.

— Я знаю, Бетси.

— Значит, мы на нём теряем два шиллинга шесть пенсов.

— Я знаю, Бетси.

Бетси подняла глаза. Посмотрела на мужа — на его круглое, доброе, растерянное лицо с мукой в бровях.

— И ты всё равно будешь печь, — сказала она. Не спросила.

— Буду, Бетси. Для детей. Сэр Амброуз нашёл боб в тысяча восемьсот семнадцатом году, и это был лучший вечер его жизни. Я хочу, чтобы у какого-нибудь приютского малыша тоже был лучший вечер. Хоть раз.

Бетси вздохнула. Отложила чулок. Встала, подошла и поцеловала мужа в лысину, где мука лежала гуще всего.

— Дурак ты, Хамфри Бэйкер, — сказала она. — За это я за тебя и вышла.

* * *

Но пирог — это одно. А декабрь — это другое.

В декабре у Бэйкера было в три раза больше работы, чем в любом другом месяце. Рождественские кексы — тёмные, тяжёлые, с изюмом, по шиллингу штука, на заказ — сто двадцать штук. Сладкие пирожки с фаршем из сухофруктов — «минс-пайс», по полпенни, — тысячи. Пироги с мясом и почками — для тех, кто не мог позволить себе гуся. Булки, ковриги, сухари. И в сочельник — корзина для приюта на Тули-стрит, сорок булок и сорок пирожков, даром, как каждый год, с тех пор как приют открылся.

Мистер Бэйкер, Бетси и Лемюэл не успевали.

— Нужна помощница, — сказала Бетси. — Девочка. На прилавок и на разноску. Чтобы я могла печь с тобой.

— Где я возьму девочку в декабре, Бетси? Все девочки в декабре заняты.

— Не все, — сказала Бетси. — У Пиклзов есть Энни.

* * *

Энни Пиклз было девять лет.

Она была младшая в семье Джо Пиклза, столяра из Тэннери-корт, — восьмая по счёту, если считать умершего младенцем Уильяма, и седьмая, если не считать. Старшие давно выросли: Лиззи вышла замуж за шорника и жила в Ламбете; Нэд таскал мешки в доках; близ-

нецы Сэм и Сид работали у отца в мастерской; Том — Том был констеблем, с этой осени, в синем мундире с медными пуговицами и в высоком шлеме, и мать каждое утро смотрела ему вслед с крыльца, пока он не скрывался за углом; Полли, пятнадцати лет, учила малышей в приютской школе. И Энни — последняя, поздняя, «подарок», как говорила Марта, — родилась, когда мать уже думала, что детей больше не будет.

Энни была рыжая. Не золотая, как Полли, не каштановая, как Том, — рыжая, огненная, как морковка, с кудряшками, которые не брал ни один гребень. Веснушки у неё были везде — на носу, на щеках, на руках, даже на ушах. Зелёный капор — перешитый из Поллиного. Шарф — полосатый, жёлтый с коричневым, связанный матерью из остатков шерсти.

А ещё Энни болтала. Без остановки. С утра до вечера. С людьми, с кошками, с голубями, с фонарными столбами. Джо Пиклз говорил, что, когда Энни родилась, она не заплакала, как все младенцы, а сразу что-то сказала — только никто не разобрал что. Марта говорила, что Энни говорит за всех детей, которые молчали в этом доме: за Тома, который в детстве был молчуном, за Полли, которая была тихоней, за маленького Уильяма, который не успел.

И ещё — Энни замечала. Всё. Кто в какой шляпе. У кого оторвана пуговица. Кто пришёл в лавку Дадли с пустым кошельком и делает вид, что выбирает. Какая лошадь хромает. Какой кебмен пьян. Какое окно на Тули-стрит горит дольше других. Она замечала и говорила об этом вслух — что, по мнению Тома, было бы превосходным качеством для сыщика, если бы только она умела вовремя замолчать.

У Энни в кармане фартука всегда лежал огрызок отцовского столярного карандаша, плоского, красного. Она им записывала. На чём придётся: на обёрточной бумаге, на полях старых газет, на стенке сарая. Записывала всё, что замечала. Кристофер Дадли, которому было девятнадцать и который сам всё записывал в книжечку, сказал однажды, что у Энни — задатки летописца. Энни не знала, что такое летописец, но решила, что это что-то хорошее, и с тех пор записывала ещё больше.

* * *

Второго декабря Энни пришла в пекарню Бэйкера в пять утра.

Марта привела её за руку — по тёмному Боро, по снегу, мимо закрытых лавок. Энни болтала всю дорогу. Про пекарню, про пирог, про сэра Амброуза, про то, что, если она найдёт боб, она прикажет, чтобы все лошади в Лондоне получили по морковке. Марта слушала и улыбалась.

У дверей пекарни Марта присела перед дочерью, поправила ей капор, заправила шарф.

— Слушайся мистера Бэйкера, — сказала она. — И миссис Бэйкер. И не болтай под руку, когда месят тесто. Тесто не любит болтовни.

— А мистер Бэйкер говорит, что тесто любит, когда с ним разговаривают.

— Мистер Бэйкер — да. А ты — не мистер Бэйкер. — Марта поцеловала её в нос. — Три пенса в день, Энни. Это много. Ты их заработаешь.

Энни заработала. В первый же день. Она стояла за прилавком рядом с Бетси на ящике из-под изюма — иначе её не было видно — и заворачивала булки. Быстро. Аккуратно. И говорила с каждым покупателем. «Доброе утро, мистер Хоуп! У вас новая шапка! А у вашей жены вчера был день рождения, я знаю, мне Пегги сказала, передайте ей поздравления!» Покупатели смеялись. Покупали лишнюю булку. Мистер Хоуп купил жене кекс за шиллинг — «раз уж все знают».

К вечеру Бетси сказала мужу:

— Хамфри. Эта девочка продала сегодня на три шиллинга больше, чем я одна за любой день в ноябре.

— Значит, оставляем, — сказал мистер Бэйкер.

* * *

Но одной Энни было мало. Нужен был кто-то на разноску. Корзины с булками — по заказам. В приют. В лавки. В дома на Боро и Бермондси.

Помощницу на разноску прислала миссис Хиггинс из приюта.

Её звали Мэри Таннер. Ей было десять лет.

Она пришла третьего декабря, в шесть утра, одна, по тёмной улице. Остановилась на пороге пекарни и не вошла. Стояла. Ждала, пока позовут. Серое приютское платье, серая шерстяная накидка, коричневые башмаки — тоже приютские, на два размера больше, с ватой в носках. Тёмные волосы, остриженные «под горшок», — в приюте всех девочек стригли так, от вшей. Большие серые глаза. Худые руки, сложенные на животе.

— Мэри Таннер, сэр, — сказала она, когда мистер Бэйкер выглянул из жара. — От миссис Хиггинс. На разноску.

— Заходи, заходи, — сказал мистер Бэйкер. — Что ты стоишь на холоде?

— Меня не звали, сэр.

Мистер Бэйкер посмотрел на неё. На серую девочку на пороге. И что-то у него внутри — у толстого, весёлого, сорок тысяч раз смеявшегося над собственной фамилией пекаря — сжалось. Как сжимается тесто, когда на него надавишь пальцем.

— Зову, — сказал он. — Заходи, Мэри. Здесь тепло.

Мэри вошла.

* * *

Мэри Таннер была в приюте «Дом Джека и Билли» с шести лет — с тех пор, как её мать, вдова лодочника, умерла от тифа в Бермондси, и приходской попечитель отвёз девочку на Тули-стрит. До шести лет она жила с матерью в комнате над лодочным сараем у Чёрч-стэйрс, и это всё, что она помнила: запах реки, мамину шаль, скрип лодок у причала. Отца не помнила. Фамилия «Таннер» — «дубильщик» — досталась ей от деда, которого она тоже не знала.

В приюте ей было хорошо. Это надо сказать сразу, потому что Мэри всегда это говорила, если спрашивали: «В приюте хорошо, мэм». Там кормили три раза в день. Там была печка. Там учили читать — Полли Пиклз учила. Там по средам приходила старая леди, бабушка Лавиния, и читала вслух. Там было сорок детей, и никто никого не обижал, потому что миссис Хиггинс не позволяла.

Но в приюте ничего не было своего.

Платье — приютское. Башмаки — приютские. Ложка — общая, с выцарапанным номером «17». Кровать — одна из двадцати в длинной спальне, с серым одеялом. Даже имя — Мэри — было не совсем своё: в приюте было три Мэри, и их звали «Мэри-большая», «Мэри-рыжая» и «Мэри Таннер».

У Мэри никогда не было ничего своего. Ни игрушки. Ни ленты. Ни платка. Ни монетки. Ни письма. Она не жаловалась. Она не знала, что можно жаловаться на то, чего никогда не было. Но иногда, ночью, в длинной спальне, она лежала и думала: а как это — когда что-то твоё? Совсем твоё? Что никто не может взять, потому что оно — твоё?

Она не знала. И думала, что никогда не узнает.

* * *

К концу первой недели Энни Пиклз знала о Мэри Таннер всё, что Мэри Таннер позволила о себе узнать. То есть почти ничего.

— Она молчит! — жаловалась Энни матери вечером в Тэннери-корт. — Я с ней говорю, говорю, а она — «да», «нет», «спасибо». Я ей рассказала про Норфолка — ну, про нашего гуся, который у нас во дворе жил, — а она даже не засмеялась! Мама, может, она немая?

— Она не немая, — сказала Марта. — Она приютская. Приютские привыкли молчать. Когда тебя сорок, а взрослая одна, — молчишь, чтобы не мешать.

— А как сделать, чтобы не молчала?

Марта подумала.

— Дай ей что-нибудь, — сказала она. — Своё. Чтобы у неё было. Тогда заговорит.

Энни подумала. У неё было немного. Карандаш — отцовский, не отдашь. Шарф — мамин, полосатый. Капор — Поллин.

На следующий день она принесла Мэри яблоко. Одно. Красное. Из бакалейной лавки Дадли, где Кристофер отдал его ей даром «для подружки».

Мэри взяла яблоко. Посмотрела на него. Долго.

— Это мне? — спросила она.

— Тебе, — сказала Энни. — Своё. Насовсем.

Мэри не съела яблоко. Она положила его в карман серой накидки и носила с собой три дня. Трогала через ткань. На четвёртый день — съела. По кусочку. Медленно. Огрызок с семечками спрятала под подушку в приюте.

Энни этого не знала. Но с того дня Мэри начала с ней разговаривать.

Интерлюдия. Мука мистера Грабба

Склад фирмы «Грабб и сыновья, мука и зерно, основано в 1776 году» стоял на Бэнксайде, у самой реки, между пивоварней Баркли и угольной пристанью, — длинное пятиэтажное здание из жёлтого кирпича, с подъёмными воротами на каждом этаже и с кранами-журавлями, которые выносили мешки с барж прямо наверх. В тумане склад был похож на огромный сундук, поставленный на берег неаккуратным великаном.

На пятом этаже, под самой крышей, была контора мистера Освальда Грабба.

Мистер Грабб сидел за конторкой красного дерева и проверял муку.

Это была его ежевечерняя привычка — единственная, которая доставляла ему удовольствие. Перед ним на зелёном сукне стояли в ряд шесть фарфоровых блюдечек. В каждом — щепотка муки из разных мешков. Мистер Грабб брал блюдечко, подносил к лампе, смотрел через золотое пенсне, нюхал, растирал щепотку между пальцами. Потом брал маленькую стеклянную пробирку с прозрачной жидкостью, капал на муку одну каплю — и смотрел, какого цвета станет пятно.

Если пятно становилось синим — значит, в муке был мел. Если бурым — квасцы. Если не меняло цвета — мука была чистая.

Мистер Грабб сам подмешивал мел и квасцы. Ему не нужно было проверять, есть ли они в его муке. Ему нужно было проверять, сколько. Потому что мела должно быть ровно столько, чтобы мука была белее и тяжелее — на мешке в двести восемьдесят фунтов это давало лишних восемь фунтов веса, по полтора пенса за фунт, итого шиллинг с мешка, — и ровно столько, чтобы хлеб из неё ещё поднимался. Квасцов — ровно столько, чтобы серая мука из подмоченного зерна выглядела как белая кентская, и ровно столько, чтобы у детей, которые едят этот хлеб, не начинались колики. Сразу.

Это было искусство. Мистер Грабб гордился им.

* * *

Мистеру Освальду Граббу было пятьдесят пять лет. Он был высокий, сухой и жёлтый, как старая корка, с бакенбардами, остриженными котлетами, — точь-в-точь как дед на портрете, который висел над конторкой. Дед, Джосайя Грабб, основатель фирмы, смотрел с портрета маленькими глазками, которые никогда не смотрели зрителю в лицо — только на руки.

Мистер Грабб тоже смотрел на руки. Это было семейное.

Он был богат. У него был дом в Клэпеме, с садом и оранжереей. Жена — тихая, бледная, вечно больная, — и двое сыновей, которых он с двенадцати лет держал в конторе клерками на пятнадцати шиллингах в неделю, «чтобы знали цену деньгам». У него был выезд, ложа в опере, место в приходском совете Святого Спасителя. У него было всё.

Кроме одного.

* * *

Мистер Грабб отставил последнее блюдечко. Снял пенсне. Протёр его платком. Посмотрел на портрет деда.

— Сорок фунтов, — сказал он вслух. Портрету. — Шестого января, дед.

Портрет молчал.

Мистер Грабб открыл ящик конторки. Достал толстую книгу в чёрном переплёте — «Должники, 1872». Нашёл страницу. «Бэйкер Х., Боро, пекарня. Взято в долг: 19 февр. — 20 мешков кентской второго сорта. Сумма: 40 ф. 0 ш. 0 п. Срок: 6 янв. 1873. Обеспечение: закладная на пекарню (дом, лавка, подвал, оборудование)».

Обеспечение — закладная на пекарню.



Контора мистера Грабба на Бэнксайде. Шесть блюдечек с мукой

Мистер Грабб провёл пальцем по строчке. Медленно. Как гладят кошку.

Он знал эту пекарню. Он знал её всю жизнь, хотя ни разу в неё не входил. Это была пекарня деда. Та самая. На Боро, на углу у Святого Георгия. Дед держал её с тысяча семьсот шестидесятого по тысяча семьсот семьдесят шестой — и продал. Продал! Основатель фирмы «Грабб и сыновья», человек, который не продал за всю жизнь ни одного мешка себе в убыток, — продал своё первое дело за полцены. Почему?

Отец мистера Грабба, Натаниэл, рассказывал ему это, когда Освальду было десять лет. Вечером, в Сочельник, у камина в Клэпеме, после второго стакана портвейна. Рассказывал шёпотом. Как рассказывают семейный позор.

В Двенадцатую ночь тысяча семьсот семьдесят третьего года у деда в пекарне умер ученик. Мальчик. Замёрз на чердаке. С бобом из Двенадцатого пирога в кулаке. И после этого у деда перестало подниматься тесто. Год. Два. Три. Дед менял всё — муку, воду, закваску, подмастерьев. Ничего. Тесто лежало, как мёртвое. «Это боб, Освальд, — шептал отец. — Чёрный боб. Дед говорил: проклятый. Кто его испечёт — тот разорится. Дед его спрятал. В пекарне. Куда — не сказал. Сказал только: "Пусть лежит. Пусть следующий дурак его найдёт"».

Освальд в десять лет не поверил. Освальд в пятьдесят пять лет — не то чтобы верил. Он был деловой человек. Деловые люди не верят в проклятые бобы.

Но он знал одно: за сто лет в пекарне на Боро сменилось пять хозяев. Четверо разорились. Пятый — Бэйкер — держался тридцать лет. Дольше всех. И именно поэтому мистеру Граббу так хотелось, чтобы Бэйкер разорился тоже.

* * *

Не из-за денег. Деньги были ни при чём. Сорок фунтов — для мистера Грабба это было меньше, чем он тратил в год на сигары.

Из-за другого.

Мистер Грабб помнил, как пять лет назад, в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом, он ехал в своём экипаже по Боро — мимо пекарни Бэйкера. Утром. В шесть часов. И увидел очередь.

Очередь стояла от двери пекарни до самого угла Сент-Томас-стрит. Грузчики, прачки, клерки, старухи, мальчишки. Стояли на морозе. Смеялись. Ждали. А из двери пахло хлебом —

так пахло, что мистер Грабб, сидя в экипаже за стеклом, почувствовал этот запах. И у него — у мистера Освальда Грабба, пятидесяти лет, который ел только белый хлеб для джентльменов, — потекли слюнки. Как у мальчишки.

А потом он увидел, как толстый пекарь в белом колпаке вышел на порог, сунул старухе-картофельнице ковригу — даром, — и захохотал над чем-то, и вся очередь захохотала с ним.

Мистер Грабб велел кучеру ехать быстрее.

С тех пор он не мог забыть. Очередь. Запах. Смех. Он стоял пятьдесят лет на пятом этаже над рекой, проверял муку, считал мел, смотрел на руки, — и никто никогда не стоял в очереди к нему. Не смеялся с ним. Не ждал его на морозе. Ему платили. Его боялись. Его уважали — немного. Его не любили. Никто.

А Бэйкера — любили. За хлеб из его же, граббовской, муки.

Это было несправедливо. Мистер Грабб был деловой человек, и он знал: несправедливость надо исправлять.

* * *

В дверь конторы постучали.

— Войдите, — сказал мистер Грабб, закрывая книгу должников.

Вошёл мальчик. Длинный, нескладный, с руками, которые торчали из рукавов. Шестнадцать лет. Лицо, на котором ничего не было написано.

— Твиг, — сказал мистер Грабб. — Ты опоздал.

— Пекарь задержал, — сказал Лемюэл Твиг. — Заказ у них. Большой.

— Какой заказ?

Лемюэл помолчал. Мистер Грабб видел, как он молчит: не потому, что не знает, а потому, что не хочет говорить. Потом мальчик сказал:

— Двенадцатый пирог. Сэру Амброузу Уиндему, на Гросвенор-сквер. На шестьдесят персон. Две гинеи.

Мистер Грабб не спеша надел пенсне. Посмотрел на Лемюэла поверх стёкол. На его руки.

— Две гинеи, — повторил он. — Значит, он отдаст мне часть долга. Два фунта из сорока. — Он помолчал. — Этого мало, Твиг. Этого мало, чтобы спастись. Но этого достаточно, чтобы надеяться.

Он открыл ящик конторки. Достал кошелёк. Отсчитал на сукно шесть пенсов. Серебряный шестипенсовик. Как каждую неделю.

— Продолжай смотреть, — сказал он. — Всё, что в пекарне необычного. Кто приходит. Что говорят. Где хранят. Особенно — в подвале. Если найдёшь там что-нибудь старое — жестяное, деревянное, что угодно, что лежит там давно, — принеси мне. Понял?

— Понял, сэр.

Лемюэл взял шестипенсовик. Сунул в карман. Не сказал «спасибо».

И ушёл.

Мистер Грабб посмотрел ему вслед. Потом — на портрет деда.

— Двенадцатый пирог, дед, — сказал он негромко. — Как у тебя. Совпадение? Я не верю в совпадения.

Дед на портрете смотрел мимо, на руки внука. Внук сидел, сложив их на чёрной книге. Пальцы были белые. От мела.

Глава третья. Коробка за печью

Девятого декабря мистер Бэйкер понял, что у него нет формы.

Он стоял посреди пекарни, держа в руках свою самую большую форму для пирогов — медную, круглую, в фут шириной, — и смотрел на неё, как смотрят на ботинок, из которого вырос.

— Бетси, — сказал он. — Шестьдесят персон. По куску на каждого. И ещё сэру Амброузу, и гостям, и миссис Хиггинс, и учительнице, и… — Он посчитал. — Это пирог в два фута. В два фута, Бетси. А у меня форма — в фут.

— Закажи новую, — сказала Бетси из-за прилавка.

— Медник на Тули-стрит берёт за такую тридцать шиллингов и делает три недели. А у меня — двадцать семь дней, и на Рождество он не работает.

Бетси подумала.

— Хамфри, — сказала она. — А в подвале? Помнишь, когда мы сюда въезжали, твой отец говорил, что там от прежних хозяев осталось всякое? Старые формы, лопаты, кадки. Он ещё хотел выбросить и не успел.

Мистер Бэйкер помнил. В подвал он не спускался лет пятнадцать. Там было низко, темно, и старая печь занимала полподвала — огромная, кирпичная, заложенная. Его отец построил новую печь наверху, в пекарне, ещё в тридцатом году, а старую заложил, но разбирать не стал: «Пусть стоит, Хамфри. Она тут дольше нас стоит. Её трогать — не к добру».

— Энни! — крикнул мистер Бэйкер. — Мэри! Возьмите фонарь. Сходите в подвал. Посмотрите за старой печью. Там должна быть большая медная форма. Если найдёте — тащите сюда. Если не найдёте — тоже тащите что-нибудь. Посмотрим.

* * *

Подвал был низкий, тёплый и белый.

Это первое, что заметила Энни, — и, разумеется, сказала вслух:

— Белый! Мэри, смотри, тут всё белое! Как снег! Это мука? Это всё мука? Сто лет муки!

Мука лежала везде. На полу — мягким слоем, в палец толщиной, так что башмаки оставляли следы, как на свежем снегу. На ступеньках. На старых бочках вдоль стен. На полках с пустыми глиняными кадками. На паутине под сводами — паутина была белая и тяжёлая, как кружево на старом чепце. Мука просеивалась сюда сверху сто лет, сквозь щели в половицах, и оседала, и оседала.

Пахло мышами, старым деревом и ванилью. Энни не могла понять, откуда ваниль. Потом поняла: из щелей в потолке, из пекарни, где Бетси как раз варила крем.

В глубине подвала стояла старая печь.

Она была огромная — больше, чем казалось сверху. Кирпичная, тёмно-красная, с широким устьем, заложенным кирпичом другого цвета, посветлее. Свод у печи был круглый, как спина у спящего зверя. Труба уходила в потолок. По бокам — ниши для дров, пустые. Над устьем — железная скоба, на которой когда-то висела заслонка.

Печь была холодная. Энни потрогала её — кирпич был ледяной, как камень на улице. Странно: весь подвал тёплый, а печь — ледяная.

— Мэри, — сказала Энни. — Потрогай. Холодная. Почему?

Мэри потрогала. Отдёрнула руку.

— Не знаю, — сказала она тихо.

* * *

Форма нашлась за печью.

Там, в узком проходе между печью и стеной, куда пришлось протискиваться боком, лежал всякий хлам. Деревянная хлебная лопата с треснувшей ручкой. Две кадки без обручей. Желез-

ная кочерга, рыжая от ржавчины. Связка старых мешков, твёрдых, как картон. И большая медная форма — круглая, тёмная, позеленевшая по краю, с вмятиной на боку, — размером, пожалуй, с тележное колесо.

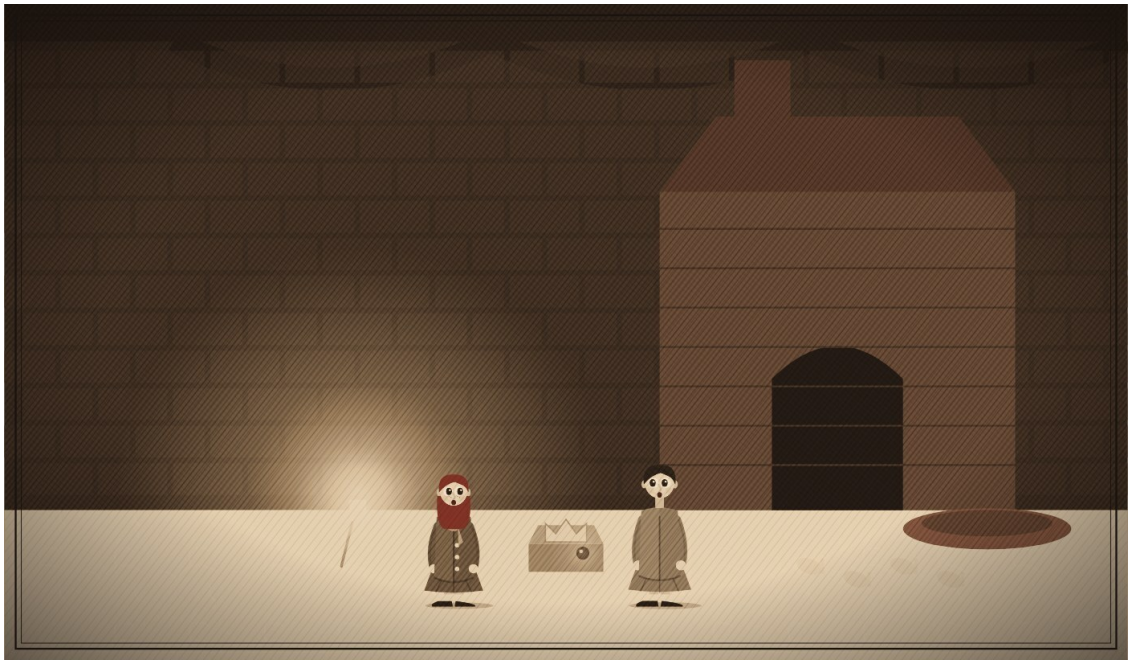
— Нашли! — закричала Энни. — Мистер Бэйкер! Нашли!

Сверху никто не ответил. В пекарне шумела печь.

Мэри взялась за край формы, потянула. Форма не поддалась — придавило мешками. Мэри потянула сильнее. Мешки поехали, рухнули, взметнули облако муки. Мэри закашлялась. Энни зачихала. Фонарь в руке у Энни мигнул.

А когда мука осела, они увидели, что под формой лежит коробка.

Маленькая. Жестяная. Размером с кирпич. Из-под чая — на боку ещё можно было разобрать полустёртые буквы: «…ЙСКИЙ ЧАЙ. ТВАЙНИНГС. СТРЭНД». Вся в ржавых пятнах. Крышка прилегала плотно.



Подвал пекарни. За старой печью

На крышке кто-то выцарапал гвоздём, неровными, глубокими буквами:

«КОРОЛЬ НА ОДНУ НОЧЬ. 1773».

* * *

— Тысяча семьсот семьдесят третий, — прочла Энни. Шёпотом — первый раз за весь день. — Мэри. Это сто лет назад. Даже больше. Сто лет и ещё немножко.

Мэри смотрела на коробку.

— Открывай, — сказала Энни. — Открывай, открывай, открывай!

Мэри опустилась на колени в муку. Взяла коробку. Она была лёгкая. Тёплая — странно тёплая, хотя лежала у ледяной печи. Мэри подцепила крышку ногтем. Крышка поддалась не сразу — заржавела, — а потом отскочила с тихим щелчком.

Внутри лежала корона.

Бумажная. Старая. Пожелтевшая, как старые письма. С зубцами — пятью острыми зубцами, как у настоящей. Когда-то она была позолоченная: в сгибах ещё оставались чешуйки золотой краски. На внутренней стороне ободка кто-то вывел чернилами — выцветшими, бурыми — одно слово: «Королю».

А под короной, на дне коробки, лежал боб.

Не белый. Не бурый, как сушёные бобы в мешках у Дадли. Чёрный. Совершенно чёрный, гладкий и блестящий, как уголёк, как бусина из чёрного стекла, как глаз у птицы. Размером с ноготь большого пальца.

Энни протянула руку — и остановилась. Ей вдруг не захотелось его трогать. Совсем.

А Мэри — взяла.

* * *

Боб был тёплый.

Мэри держала его на ладони и чувствовала, как он греет кожу. Не сильно. Как греет яйцо, которое только что вынули из-под курицы. Как греет рука другого человека.

И тут — в тишине подвала, в мучной белизне, в свете фонаря — кто-то вздохнул.

Совсем рядом. За печью. Или в печи. Или у самого уха Мэри.

Вздох был длинный, тихий, усталый. Так вздыхают очень голодные дети, когда смотрят в окно булочной. Мэри знала этот вздох. Она сама так вздыхала — в шесть лет, в первую зиму после маминой смерти, когда ещё не попала в приют и стояла у витрины кондитерской на Тули-стрит, смотрела на пирожные и не могла уйти.

А потом тоненький голос сказал:

— Есть хочу.

* * *

Мэри уронила боб.

Он упал в коробку, на корону, — беззвучно, как падает что-то очень лёгкое. Мэри вскочила. Попятилась. Наткнулась спиной на стену.

— Ты что? — Энни подняла фонарь. — Мэри? Ты белая, как мука!

— Ты слышала? — прошептала Мэри.

— Что?

— Кто-то сказал. «Есть хочу».

Энни прислушалась. В подвале было тихо. Сверху, через половицы, доносился голос Бетси — она торговалась с кем-то из-за кекса — и треск печи. Больше ничего.

— Это наверху, — сказала Энни уверенно. — Покупатель. Какой-нибудь мальчишка. Они всегда хотят есть.

— Нет, — сказала Мэри. — Это здесь. Совсем рядом.

Энни посмотрела на подругу. На её серое лицо и огромные серые глаза. Потом — на коробку. На чёрный боб, лежащий на жёлтой короне.

И Энни Пиклз, которая всегда знала, что сказать, — первый раз в жизни не знала.

Она подумала. Записать? Записать — потом. Сейчас — надо что-то сделать. Отец говорил: «Когда не знаешь, что делать, — делай то, что сделала бы мать». Что сделала бы мать?

Мать бы закрыла коробку. И понесла к тому, кто знает.

Энни закрыла коробку. Крышка щёлкнула. Энни сунула коробку в карман фартука.

— Покажем бабушке Лавинии, — сказала она. — Она старая. Она всё знает. Она в среду придёт в приют, а среда — послезавтра.

Мэри кивнула. Она всё ещё стояла у стены.

— А мистеру Бэйкеру? — спросила она.

— Потом, — сказала Энни. — Сначала бабушке. Мистер Бэйкер будет смеяться. Он над всем смеётся. А бабушка — не будет.

* * *

Они вытащили форму наверх вдвоём. Мистер Бэйкер обрадовался ей, как родной.

— Вот это да! — гремел он, вертя позеленевшую медь. — Вот это вещь! Сто лет ей, не меньше! Тут вмятина, но я выправлю! Почищу песком, лимоном — будет как новая! Девочки! Вы меня спасли! Бетси! По булке каждой! С изюмом!

Энни взяла булку. Мэри взяла булку. Мэри откусила маленький кусочек — и остановилась. Посмотрела на дверь в подвал. Тёмную. Открытую.

И отломила половину булки. И, когда никто не смотрел, — положила её на верхнюю ступеньку подвальной лестницы.

Сама не зная зачем.

Энни видела. Энни всегда всё видела. Но ничего не сказала.

* * *

В тот вечер Энни повесила свой фартук, как всегда, на гвоздь у двери в пекарню — Бетси велела оставлять, чтобы мать не стирала каждый день. Коробка лежала в кармане.

Ночью, в пять утра, ночной подмастерье Лемюэл Твиг пришёл на работу. Повесил куртку на гвоздь — рядом с маленьким фартуком в муке. Помыл руки. Замесил тесто.

Утром Энни надела фартук. Сунула руку в карман. Коробка была на месте.

Только боба в ней не было.

А половины булки на подвальной ступеньке — тоже не было. И на муке, на ступеньках, ведущих вниз, в темноту, — остались следы. Маленькие. Босые. Детские.

Энни их заметила. И записала красным карандашом на обёрточной бумаге: «10 дек. Боба нет. Булки нет. Следы босые. Маленькие. Кто?»

Глава четвёртая. Бабушка Лавиния

Бабушке Лавинии Дадли было восемьдесят два года, и она знала, что это её последняя зима.

Она знала это так же спокойно, как знала, что после декабря будет январь, что чай надо заваривать кипятком, а не тёплой водой, и что «Робинзон Крузо» кончается хорошо. Никто ей не говорил. Доктор Прайор, который приходил раз в месяц слушать ей сердце, говорил: «Превосходно, миссис Дадли, превосходно, вы нас всех переживёте». Сын, Хорас, говорил: «Мама, вам ещё жить и жить». Невестка, Сара, приносила по утрам горячее молоко с мёдом и укутывала ноги пледом.

Но бабушка Лавиния знала. По тому, как стало холодно рукам — даже у камина. По тому, как ночью ей снилась мать — молодая, в чепце с лентами, какой она была в тысяча семьсот девяностом году. По тому, как вдруг стало легко. Точно всё, что надо было сделать, — сделано. И осталось только одно.

Дочитать «Робинзона».

* * *

Она начала читать его детям в приюте в сентябре. По средам, с двух до трёх, в классной комнате на втором этаже «Дома Джека и Билли», у печки. Сорок детей на скамьях. Миссис Хиггинс у двери, со скрещёнными руками. Полли Пиклз — рядом с бабушкой Лавинией, на всякий случай: подать воды, найти страницу, если бабушка потеряет.

Бабушка Лавиния читала медленно. Голос у неё был старый, тонкий, как нитка, но нитка эта была прочная, и в классной комнате было так тихо, что слышно было, как трещит в печке уголь. Она читала про кораблекрушение, про остров, про козу, про попугая, про следы на песке. Про Пятницу.

Дети слушали так, как слушают только приютские дети: не шевелясь, не дыша, всем телом. Потому что для них это была не сказка. Человек один на острове. Без матери, без отца, без дома. Должен сам. Всё сам. Это было про них.

К одиннадцатому декабря оставалось двенадцать страниц.

— Дочитаю сегодня, — сказала бабушка Лавиния Полли, садясь в кресло. — А то он так и останется на острове. А ему пора домой.

Она дочитала. В три часа пять минут. Робинзон Крузо вернулся в Англию. Сорок детей сидели молча — секунду, две, три. Потом маленький Джимми Оукс, пяти лет, спросил:

— А его кто-нибудь ждал? Дома?

Бабушка Лавиния закрыла книгу. Подумала.

— Нет, Джимми, — сказала она. — Никто не ждал. Все думали, что он умер. Он пришёл — а там чужие люди.

— Жалко, — сказал Джимми.

— Жалко, — согласилась бабушка Лавиния. — Но он нашёл себе новых. Людей. Своих. Так бывает, Джимми. Если тебя никто не ждёт — найди тех, кого ждёшь ты. Это то же самое. Даже лучше.

Дети захлопали. Бабушка Лавиния улыбнулась.

* * *

После чтения, когда дети разошлись на полдник, к её креслу подошли две девочки.

Одну бабушка Лавиния знала хорошо: Энни Пиклз, младшая Джо и Марты, рыжая, болтливая, с карандашом. Другую — меньше: серая, тихая, из приютских. Мэри Таннер. Сидела всегда в третьем ряду, у окна. Слушала лучше всех.

— Бабушка Лавиния, — сказала Энни. — Мы вам кое-что принесли. Показать. Только вы не смейтесь.

— Я, детка, в восемьдесят два года смеюсь только над тем, что смешно, — сказала бабушка Лавиния. — Показывай.

Энни достала из кармана фартука жестяную коробку. Протянула.

Бабушка Лавиния взяла её. Надела очки — круглые, в серебряной оправе, на цепочке. Посмотрела на крышку. На процарапанные буквы.

«КОРОЛЬ НА ОДНУ НОЧЬ. 1773».

И Полли, стоявшая рядом, увидела, как у бабушки Лавинии дрогнули руки.

* * *

— Где вы это взяли? — спросила бабушка Лавиния. Голос у неё стал другой. Не старый. Не тонкий. Как у человека, который вспомнил что-то, что помнить нельзя было.

— В пекарне Бэйкера, — сказала Энни. — В подвале. За старой печью. Под формой.

Бабушка Лавиния открыла крышку. Посмотрела на корону. Жёлтую, с пятью зубцами, с чешуйками позолоты. Потрогала пальцем надпись на ободке: «Королю».

— А боб? — спросила она. — Там был боб?

Энни и Мэри переглянулись.

— Был, — сказала Мэри. Тихо. — Чёрный. Тёплый. А утром — пропал.

Бабушка Лавиния закрыла коробку. Положила её на колени. И долго сидела, глядя в окно, на Тули-стрит, где падал снег.

— Полли, — сказала она наконец. — Принеси мне воды. И закрой дверь.

Полли принесла. Закрыла. Бабушка Лавиния отпила глоток. Поставила стакан.



По средам бабушка Лавиния читала приютским вслух
И тихо запела.
Пирог режь, а боб не тронь,
Чёрный боб — что злой огонь.
Кто корону ночью взял —
Тот рассвета не видал.
* * *

Голос у неё был старый, тонкий, как нитка, — и песенка была старая. Не лондонская. Деревенская. Кентская, может быть: такой мотив пели в Кенте, когда Лавиния была маленькой, — простой, на четыре ноты, как колыбельная, только колыбельные так не кончаются.

Полли поёжилась, хотя печка грела. Энни перестала дышать. Мэри стояла, сложив руки на животе, и смотрела на бабушку Лавинию, не мигая.

— Эту песенку, — сказала бабушка Лавиния, — пела мне няня. Когда мне было пять лет. В тысяча семьсот девяносто пятом году. Её звали Ханна. Ханна Крамб.

Она помолчала.

— Она пела её каждую Двенадцатую ночь. Только в Двенадцатую ночь. Когда в доме резали пирог. Отец мой — он был торговец чаем, тогда ещё не на Истчипе, а в Кенте, в Мейдстоне, — любил Двенадцатую ночь. Пёк пирог, созывал соседей, детей. И каждый раз, когда начинали резать, Ханна брала меня на руки, уносила в детскую и пела. «Пирог режь, а боб не тронь». Я плакала. Я хотела к пирогу. А она не пускала. Говорила: «Не надо, мисс Лави. Не надо вам боб. Пусть другие ищут».

— Почему? — спросила Энни.

— Я спросила её однажды. Мне было семь. Она рассказала. — Бабушка Лавиния посмотрела на коробку на коленях. — Про своего брата.

* * *

— У Ханны был брат, — сказала бабушка Лавиния. — Младший. Обадайя. Они были сироты, из работного дома Святого Георгия, здесь, в Саутварке. Ханну отдали в прислуги в Кент, а брата — в ученики к пекарю. На Боро. Злой был пекарь. Жадный. Кормил мальчика корками.

Энни хотела что-то сказать — и не сказала.

— В Двенадцатую ночь тысяча семьсот семьдесят третьего года, — продолжала бабушка Лавиния, — у пекаря были гости. Богатые. Пекарь испёк для них пирог. С бобом. С чёрным бобом. И боб нашёл не гость. Боб нашёл мальчик. Подметал крошки — и нашёл.

Она помолчала.

— Гости надели на него корону. Бумажную. Смеялись. Кричали: «Король до утра! Приказывай!» И он приказал. Одно. «Дайте мне кусок пирога». — Голос у бабушки Лавинии дрогнул. — Ему не дали. Посмеялись — и не дали. Отправили спать на чердак. А пекарь погасил печь. Экономил уголь. А ночь была — самая холодная за двадцать лет.

Тишина в классной комнате была такая, что Полли слышала, как тает снег на подоконнике.

— Утром его нашли, — сказала бабушка Лавиния. — На чердаке. В короне. С бобом в кулаке. Ханна пришла из Кента через неделю. Пешком. Тридцать миль. Принесла ему яблоко. Положила на могилу.

* * *

Мэри Таннер стояла, сложив руки на животе. По её серому лицу текли слёзы. Беззвучно. Она не вытирала их. Она, кажется, их не замечала.

— Ханна говорила, — сказала бабушка Лавиния, — что брат не ушёл. Совсем. Что он остался — в бобе. В том самом. Что пекарь спрятал боб и корону и никому не показывал. И что в каждую Двенадцатую ночь мальчик голодный. Ищет пирог. Ищет того, кто найдёт его боб. Чтобы снова стать королём. На одну ночь. И чтобы — может быть — на этот раз ему дали кусок.

— А если найдут? — спросила Энни шёпотом.

— Песенка говорит, — сказала бабушка Лавиния. — «Кто корону ночью взял — тот рассвета не видал». Ханна говорила: кто найдёт его боб — станет королём по-настоящему. До рассвета. И всё, что пожелает, — сбудется. Но если встретит рассвет в короне — уйдёт к нему. За иней. Ему ведь одиноко, Ханна говорила. Сто лет одному. Ему нужна свита.

Она открыла коробку ещё раз. Посмотрела на корону. На слово «Королю».

— Это Ханна написала, — сказала она. — Её почерк. Я его знаю. Она учила меня писать. Так же — «К» с завитком. — Бабушка Лавиния погладила надпись пальцем. — Значит, она нашла коробку. Или пекарь показал ей. И она написала — брату. «Королю». Чтобы он знал, что он король. Хоть на бумаге.

* * *

Полли первая пришла в себя.

— Бабушка Лавиния, — сказала она. — Это сказка. Правда? Это няня вам рассказывала сказку.

Бабушка Лавиния посмотрела на неё поверх очков. Долго.

— Полли, — сказала она. — Тебе пятнадцать лет. Ты не ешь сладкого восемь лет. Ты оборачиваешься, когда пахнет малиной. Ты видела в шестьдесят восьмом году клоуна, у которого не смывался грим. Ты сидела на соломе в сочельник шестьдесят седьмого с гусем, который говорил. — Она помолчала. — Ты правда думаешь, что это сказка?

Полли покраснела. Опустила глаза.

— Нет, — сказала она. — Не думаю.

— Вот и я не думаю, — сказала бабушка Лавиния. Она закрыла коробку. Отдала её Энни. — Положи на место, детка. За печь. Где лежала. И не трогай больше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.